



Мargarita
Хемлин

И С
КАЛЬ
ЩИК

CoRpus

Маргарита Хемлин

Искальщик

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23516073
Искальщик / Маргарита Хемлин: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-101549-7

Аннотация

“Искальщик” – один из романов финалиста премий “Большая книга”, “Русский Букер” и “НОС” Маргариты Хемлин (1960–2015), не опубликованных при жизни автора. Время действия романа – с 1917 по 1924-й, пространство – украинская провинция, почти не отличимая от еврейских местечек. Эта канва расцвечена поразительными по достоверности приметами эпохи, виртуозными языковыми находками. Сюжет в первом приближении – авантюрный. Мальчики отправляются на поиски клада. Тут-то, как всегда у Маргариты Хемлин, повествование головоломным образом меняет течение – а с ним и судьбы людей, населяющих роман. По уверению Лазаря Гойхмана, главного героя, рассказывающего все – до самого стыдного и жуткого, “в каждой насыщенной минуте человека есть такое, что в дальнейшем может стать вопросом вплоть до непостижимой тайны”. Выслушайте Лазаря, он таки прав.

Маргарита Хемлин

Искальщик

В каждой насущной минуте человека есть такое, что в дальнейшем может стать вопросом вплоть до непостижимой тайны.

Скажу о себе.

Мой жизненный путь начинался в местечке Остёр, который живописно расположился между Киевом и Черниговом. Год рождения – 1908-й. Я рос в окружении еврейского населения в однодетной, но бедной семье.

Мой отец Исаак Гойхман имел занятие кузнеца и ходил по окрестным селам. Длительность его отсутствий достигала иногда двух-трех месяцев. Он был красивый человек среди всего населения Остра. Выделялся и ростом, и строением лица, и всем что угодно. В данном случае я руководствуюсь не своими личными впечатлениями, а твердым мнением острян, среди которых были не в большинстве и украинцы, и русские. Что свидетельствует о зачатках интернационализма, между прочим. Пускай и не слишком сознательного.

Он умер от чего-то, когда я имел года три от рождения. И его натуру я рисую не по собственной памяти, а так, как запечатлели во мне образ отца дед и мать.

Моя мать Двойра происходила из хорошей семьи. Внешне красота в ней совсем не пробивалась. Но сердце она содержала в сплошной доброте и участии. Удачно готовила, особенно из ничего, что случалось в нашем доме часто.

Она была мать. Можно и даже надо сказать – с большой буквы.

С нами проживал ее отец, а мой дед – Хаим. Он практически руководил семьей и в то же время пользовался сильнейшим уважением при синагоге за свои знания и навыки в области религии по иудейской части.

Дед и мать зарабатывали на нашу общую жизнь следующим образом: мать шила нижнее белье, постельные принадлежности и прочую мелочь по требованию; дед фактически был у нее на подхвате – делал наметку, порол, гладил и заглаживал. Прямая специальность в молодости у него была сапожник. Но правая рука вследствие злоумышленного перелома срослась неправильно, и потому вот так вот.

Что касается моих бабки с стороны матери и деда с бабкой с стороны отца – то про них мне ничего доподлинно неизвестно. Что станет ясно из дальнейшего рассказа. Если я его проведу, несмотря на ряд насущных обстоятельств.

Чтобы не забыть и, может, кому-то пригодится. К вопросу обстоятельств. Участковая докторша говорит, что в мои годы надо нажимать на свежие фрукты и овощи, и даже не так на фрукты, как на овощи. По силе возможности я нажимаю,

вследствие чего держится память и здоровье вообще.

Да.

Вернусь.

Надо отметить, еврейских погромов в Острере не случилось. Но упомяну большие смертельные исходы среди еврейского населения в период скоротечной смены власти на Украине с 17-го по самый 20-й год. А именно в нашей местности. Убивали не только по военному делу, но и, можно сказать, по разнообразному. Менялись банды, особенно батьки Струка; петлюровцы и все тому подобное. Но тут уже куда денешься. А в остальном – ничего.

На описываемый период еврейское население, несмотря ни на что, в Острере сохранялось и собиралось жить.

Причем сам я до определенного, более позднего времени, как ни удивительно будет узнать, насильственно убитых, то есть мертвых людей, не наблюдал. Дед и мама меня прятали в дни наивысшей опасности. А выпускали с погребца, когда уже все лишнее с улиц подметали и убирали.

Мама лично обходила Острер и докладывала потом деду. Я сидел на верхней ступеньке лестницы погребца и слышал ее радостные доклады: можно выпускать, уже чисто.

В то время над многострадальной землей носился 19-й год, и надежда бедноты состояла в победе большевиков на всех фронтах.

Не исключались с подобных чувств и дети нашей местности. Мы тоже глубоко и душевно тянулись, конечно, к красным.

Старшая остёрская молодежь еврейской национальности горячо приняла революцию. Многие ринулись в Киев и Чернигов, чтобы оттуда твердой ногой шагать дальше вплоть до всего мира. Во-первых, свобода от ненужных религиозных дурманов, обычаев, а также, особенно, от предрассудков разнообразных мастей. Во-вторых, черта оседлости перестала душить горло и ум каждого. Что же касается равнодушных или тех, кто находился под гнетом затурканности, среди которых имелся и мой дед, а также мать, то им подобных тоже было много. Уставший возраст, страхи – что понятно. И, между прочим, бесконечная темнота.

Скажу откровенно – полной мерой понять их невозможно. И пусть земля или что там под ними будет для них пухом.

Ну, таким образом.

Сейчас у нас идет уже 1992 год. Прошло семьдесят три года с того весенне-летнего периода времени, когда Марик Шкловский сказал мне по особому секрету, что знает про клад под Волчьей горой, за Остром.

Помню хорошо, до полной видимости.

Марик Шкловский прибежал ко мне не просто как к другу, а еще и потому, что слышал от кого-то старшего по го-

дам, якобы клады имеют соответствующее их тайному положению заклинание. Прежде всего – непонятное на слух и по смыслу своего содержания, но сильное в действии. Марик уже перебрал в своем уме несколько слов и выражений, которые, по его мысли, могли бы послужить ключом к кладу. Но в конце концов отмел их как все-таки понятные. Конечно, это были отвратительные ругательства. Что греха таить... К тому же репутация Марика состояла в том, что он может нагородить неизвестно что на пустом месте и отстаивать это место до последней капли терпения всех. А потом развернуться и пойти вроде ненормального. И вообще.

И вот Марик явился ко мне с своим неожиданным для меня предложением. Чтоб я ему наговорил какие-нибудь слова с книжки, которую мусолил мой дед. А именно – из Торы.

Марик являлся членом антирелигиозной семьи, то есть был полусиротой без матери. Причем на показ и демонстрацию.

Его отец Шкловский Перец появился в Остре из Киева. Поэтому как бывший на городской закваске Перец смотрел на окружающее с презрением и осуждением. На вопросы острян, почему ж он приперся в такое плохое место, отвечал туманно. Перец ругался вправо и влево именно на Бога и утверждал, что его ругня направлена не только на отдельного взятого еврейского Бога, а и совсем, на любого. Но что касается насчет совсем и любого – так он еще посмотрит. А про еврейского – точно. Нема.

Перец работал в пуговичной артели, где в полную силу хозяйничал Борух Полиновский. Подобных артелей существовало аж две. Исходного материала в Десне и Острянке хватало бы и на три. Исходным материалом являлись ракушки, которые славились среди тех, кто понимал их настоящую ценность. Артель Полиновского – самая хорошая из двух. Товар отправляли в Киев. Чем и заведовал Перец.

Как раз из-за причастности к постоянным поездкам в большой город – и в какие бурные отрезки времени! – отец Марика усугубил сознание в сторону громкого отторжения Бога и порицания Торы. Рассказывали, что Тору несколько лет назад Перец выбросил в речку Десну с обрыва и еще при этом уговаривал заранее приглашенных свидетелей, чтоб разнесли увиденное.

Он, конечно, созвал на свидетельство далеко не евреев. Евреи б ему Тору выбрасывать не дали, хоть убили б, а не дали. Поэтому Шкловский пригласил своих дружков разнообразных национальностей. И, между прочим, там был поляк, это если считать кроме русского хлопца и украинского дядьки. Для полноты, чтоб в все стороны народов.

Я, конечно, войдя в сознательный, хоть и ранний возраст, поддерживал Шкловского, и Марик тоже поддерживал. Но другие – старшие евреи – нет.

Мой дед истолковал подобное поведение одним фактом, но четким и ясным. Перец вдовец, хочет жениться, гуляет в Киеве с украинской женщиной по-тихому, а хочет по-гром-

кому. И вот вам результат. Ее родственники против еврея, что тоже понятно. Без фактов. А раз Перец выбросил Тору, он будет являться уже не евреем. Совесть его уберегла выкрещиваться, а так – он считает – можно и даже получается красиво.

Дед жалел Переца. Хоть не обходился без постоянных намеков на его выкрутасы.

Вывод делается такой. Марик был лишен Торы и других еврейских сочинений определенного рода с младенческих лет молока матери. Дедов-бабок также рядом не оказалось. Так что на момент обращения ко мне в голове Марика все сходилось: читалась книжка Тора справа налево, не по-людски, как выражался Перец, и причем надо было водить пальцем по каждому слову, чтоб, не дай Бог, ни одного не пропустить и не перепутать. Лучшего для открытия клада не найдешь никогда.

Дед же учил меня чтению Торы с четырех лет, как честного продолжателя еврейского народа. Только время уже было не то. Другое. Огневое. И потому книжку справа-налево я забросил. Хоть с вызубренного помнил много.

Я, конечно, уточнил: или пойду с Мариком на Волчью гору, или он считает, что я как дурень скажу ему слова и останусь в стороне от клада. Марик сказал, что считает – останусь в стороне. А за каждое слово он мне заплатит, когда

клад откроется во всю широту и глубину. То есть наоборот.

Надо ли говорить, что я отказался...

Тут Марик привел мне соображение насчет того, что я понимаю слова. А надо, чтоб говорящий и никто с ним заодно – не понимал. Где надо, поймут и клад откроют. Я заверил товарища, что ни единого слова из Торы по смыслу не понимаю. И никогда не понимал. Заучивал на слух из-под палки. Вот теперь только-только вспоминаю под его давлением и согласен записать несколько русскими буквами. Но сомневаюсь, или можно русскими. Потому что если русскими, то получится уже вроде понятно. Так что лучше я перерисую из Торы любой кусочек – строчки на две. Лучше на три. И мы эти строчки не прочитаем, а чтоб никому не обидно, засунем в тишине и покое бумажку в землю в примерном месте. Дальше уже оно двинется куда надо, само по себе.

Марик согласился после сильно длительного раздумья.

Назавтра отправились. Под надвигавшийся вечер.

Место выбирали долго. Марик заверил, что клад может передвигаться внутри земли и потому неважно, где произвести заклинание. Клад до заклинания дойдет сам, своими собственными ногами.

Закопали бумажку под кустом жасмина. Как раз был конец мая, цветочки пахли, даже притягивали подойти.

Да.

Потом, конечно, усталость взяла положенное. Мы заснули

крепким юным сном.

Когда проснулись, на небе уже сияли некоторые звезды.

Обмацали траву кругом себя. Как настоящие искальщики, на коленях пропóлзали под горой не меньше часа. Клад не пришел.

Решили по второму кругу явиться утром. Тем более с мешком или тому подобным. И при этом выказывали радость, что в настоящую минуту идем без поклажи – до дома версты четыре, в рубахах нести сокровища – можно ж и порвать. А с мешком будет хорошо. Мы его – на палку и вдвоем осилим. Удобно.

Дома меня ждал дед. Причем с сильно нехорошими намерениями. Я это заметил по его виду и выражению фигуры.

Вместо того чтоб переписывать строчки из книжки, я вырвал половину страницы. Дед это, что понятно, обнаружил. Угрозами и общим сиюминутным отношением он вынудил меня скрыться из родного дома.

Моя мать потакала деду, причем во всем. И никто за меня на тот момент не заступился.

Я убежал за дальние огороды.

Что греха таить, я всегда стремился к простору. Чтоб на все углы – одна свобода! Я еще в детском возрасте заметил, что на свободе голова хорошо пустеет, аж до звона. Голова

прямо сама выкидывает, что раньше туда напхали. В чужую ж в голову лезут все, кому б и не надо.

Да.

И вот в мою голову явилось решение идти на Волчью гору самостоятельно и сторожить клад до утра. Чтоб впоследствии задобрить деда и мать золотом. Не говоря уже про искупление, славу и весь мыслимый почет.

Горы я в ту ночь не увидел. Последнее, что мне запомнилось из тогдашнего – треск доски под ногой на мосточке. По-видимому, от неожиданности и перепуга я выключил свое сознание и включил его только когда услышал над собой взрослый голос.

– Нэ рыпайся, дурэнь! Ногу до кисточки обдэрэш! И так тут у тэбэ крови повно. Усю ричку замутив. Зараз одрубая тоби аж поникуды, инакше нэ знаю, що й робыты...

Я поднял голову и закричал, то есть, как мог, выразил сильную просьбу, чтоб ногу мне не рубали, особенно по некуда.

Незнакомый дядька засмеялся и подтвердил, что отрубает именно по некуда, а по-другому он меня освободить не сможет. Ну не разбирать же мосток из-за дурня...

Как бы там ни было, я сообразил, что взрослый человек был сильно выпивши. Сивушный дух явился для меня чем-то вроде хлороформа. Считаю, что именно это и облегчило тогда мои тяжелые страдания. Я опять выключился.

Очнулся в хате. Позвал маму при помощи неясного мычания. В ту же секунду среди других чувств распозналась нестерпимая боль.

Оглянулся вокруг себя и понял, что нахожусь в чужом помещении. Лежу, накрытый рядом, на скрыне, подо мной – кожух мехом наружу. Вместо подушки – свернутые тряпки. Я их вытащил из-под головы и кинул на земляной пол. Между прочим, они присохли к волосам и плохо поддавались отделению от головы. В ясном свете утра на полотне во весь свой цвет алели пятна крови.

Я вспомнил ночную угрозу лишить меня ноги. Ощупал двумя руками, где надо. Две моих ноги оказались на прежнем месте. Только правая, как кукла-мотанка – вся сплошь перевязанная тряпками, – не отозвалась на прикосновение своим участием.

“А вдруг там уже и не нога, а деревянная палка?” – Страшная догадка сильно оглушила меня.

Я громко закричал. В произошедшем увиделась расплата за несправедное посягательство на клад.

В хату зашел мужик. В длинной полотняной рубахе, штанах, босой.

– Ну шо, жиденок, ногу ты соби зидрав аж до кистки. И кистку трохы захватыв. Якбы у тэбэ там м'ясо було, а у тэбе ж сама шкирка...

Я спросил сквозь слезы, куда он подевал мою ногу.

– Куды-куды... У печи спалыв!

Я, конечно, горько зарыдал.

Мужик стал надо мной в весь огромный рост. Протянул руку к моей голове.

Я отшатнулся и больно ударился об стенку. Аж крейда немножко потрескалась в том самом месте.

– Ты шо? Та навищо мэни твоя нога пархата! Отакэ! Я кров твою погану усю нич вгамовував. Уси ганчирки спортив. Дывысь! Й пид голову тобиничого було сунути. Геть усэ у крови! Дак я запахав тоби пид голову, що вже наскризь промокло. Голови однаково, а ногу ж рятуваты трэба. Я рушником перетягнув. Зараз доктор прыидэ. Сусид мий до Остра поихав, дак я попросыв, щоб доктора привиз. Звидты доктор. Еврэй, ага. Вин тоби як свому усэ зробыть. Добрый ликар. Хоча й молодой. А що – як молодой, то й руки в нього не трусяться. Ага. Люди ж дарма не скажуть.

Я перестал плакать.

– Отак. Терпы, козак, отаманом будэш. Хочеш в отаманы? Хо-о-очеш! Сам звидкы?

Я ответил, что остёрский.

Мужик расстроился, что я ему раньше не сообщил. Он решил, что я из Козельца. Ночью в бреду я вроде такое сказал. Наверно, даже в беспмятстве старался запутать следы и отвести постороннего от клада. Через мосток можно было идти прямо к Волчьей горе, а можно – дальше, на Козелец.

– Ну, хай... Прийдэ доктор, забэрэ тэбэ до Остра. Вдома мамка твоя рэвэ, мабуць... Гевалт и такэ инше... Ваши мамы люблять лэмэнтуваты. Ой, люблять! Больйону тоби зварыть! Курку зарубае и зварыть! Точно ж кажу! Нэ журысь! Як тэбэ зваты?

– Лазарь. Гойхман.

– Ага! Недарма ж у кныжци сказано: “Вставай, гад, Лазар, и ходы!” Ну, як ты Лазар, то й будэш шкандыбаты. Спы! Зараз щось исты зробию. Мэнэ дядько Мусий зваты. Як тоби щось трэба, звы, як люды одын одного звуть, а нэ рэвы, як хто зна що...

Я успокоился и уснул, причем сквозь боль.

Через некоторое время на дворе слышались человеческий разговор, лошадиный шум и тому подобное. Я узнал голос остёрского доктора Рувима Либина.

Я сильно пришел в себя от этого факта, потому что Рувим приходил к деду и являлся не чужим в нашем доме. Либин славился тем, что закончил Киевский университет с большим блеском. Несмотря на жестокую процентную норму для евреев. Про большой блеск упоминали по Остру беспрестанно и причем еще что-то имели в виду. На тот момент мне было неизвестно, что именно имели.

Между прочим, возраст Рувима был двадцать шесть лет.

Хоть на дворе говорили негромко, я разобрал и осознал

следующее.

Ночью на Остёр налетели струковцы. И теперь они в местечке подкрепляются и находятся на отдыхе.

Либин был к ним призван для осмотра раненых, причем один умер у него прямо на руках. Какой-то особо ценный раненый. Рувим испугался, что окажется лично виноватым и замордованным, как полагается, что понятно по тому периоду времени. Он побежал в лес, как раз по направлению к Волчьей горе, и там ему встретилась подвода с соседом дядьки Мусия. Доктор умолил его не ехать дальше, а вернуться куда угодно, только подальше от Остра. Сосед дядьки Мусия согласился, потому что отчасти за Рувимом и ехал.

И вот все так удачно получилось, и он уже тут.

Мусий обратился к Либину:

– Ну що... Подывысь на малого. Зробы що трэба. И щоб я тэбэ не бачив. Тэбэ шукаты будуць. А мэни горэ.

Я закричал по-еврейски:

– Рувимчик! Я тут! Иди сюда! Скорей!

Дернулся всем телом от собственного крика. Боль пронзила меня всего с головы до, как я в самой глубине души надеялся, имеющихся пока ног.

Поздним вечером при свете каганца я узнал непоправимую правду о последних событиях в Остре.

В результате бандитского нашествия подверглись бесче-

ловечному нападению мой дед и моя мать.

Рувим в тот момент находился в нашем доме, так как был вызван приводить к жизни деда и маму, которые почти сошли с ума от моего отсутствия в тревожные часы. Струковцы требовали, чтоб Рувим немедленно пошел с ними к раненым. Рувим уточнил, или не истекают раненые кровью, какие у них произошли повреждения. И сделал вывод, что сможет явиться хоть через полчаса, хоть через час, когда старик и женщина немного очнутся от успокоительного укола, который он произвел.

Один из тех, кто пришел за Рувимом, рубанул своей шаблокой по очереди деда и маму с утверждением, что нечего тут рассиживаться.

Рувима взяли и потащили.

Я это все послушал. И спросил только, на месте моя нога или уже нет. Рувим ответил утвердительно и поинтересовался, или я все понял из его достоверного рассказа.

Я сумел кивнуть и вслух подтвердить собственное понимание первыми попавшимися словами:

– А вдруг они очнулись?

Лицо Рувима стало белым.

Он положил мне свою ладонь на глаза и приказал:

– Спи! Шлафен!

На момент моего пробуждения в хате происходило сове-

щение среди Мусия и Рувима.

Мусий считал, что нам надо топтать до дому, а Рувим утверждал, что не надо.

Мусий ставил вопрос ребром – за какие бублики мы тут у него будем ошиваться?

Рувим пропускал вопрос мимо ушей и мусолил свое.

В конце концов в качестве отдачи за проживание Рувим предложил свой докторский саквояж из толстой свиной кожи с блестящими застежками и в придачу штаны, пиджак и ботинки.

Мусий выразил согласие на неделю. Рувим начал его стыдить – за такую плату можно было б и две. Мусий подумал и согласился.

Рувим заметил, что я не сплю, и сказал:

– Рана твоя большая, но поверхностная. То есть больше гевалту, чем дела. Через неделю будешь прыгать на обе ноги. Скажи спасибо дядьке Мусию! Он нас берет к себе на постой, пока ты очухаешься.

Я возразил:

– Раз я буду скакать через неделю, так зачем же ты ему все с себя отдаешь, вроде за две? Одежду ни за что не отдавай! Ну хоть ботинки не отдавай! Где теперь ботинки возьмешь?

Рувим встал из-за стола и провозгласил:

– Скакать ты будешь через семь дней. А вторые семь дней я взял на всякий случай. Ну, если честно, так для себя – лич-

но. Как для человека. Не как для врача. Надо, чтоб струковцы меня немножко потеряли.

Я разозлился:

– А вдруг дед с мамой меня уже ищут? Нет! Мне надо в Остёр! А ты оставайся! Оставайся! Жри тут за свой свинячий чемодан! Жируй! Я деду расскажу! Он тебя больше на свой порог не пустит! Он твой чемодан, между прочим, чтоб ты знал, терпеть не может! Он на него плюет! И я плюну! Сто раз!

Я плюнул в сторону саквояжа раз. Подождал немножко. Плюнул еще. Будем откровенны, расстояние помешало мне попасть в намеченное. И я аж заплакал – от праведной обиды.

Ясно вспомнилось, как дед просил всякий раз, когда Рувим приходил в наш дом, оставлять саквояж на дворе. Если Рувиму нужны были инструменты, он выходил за ними или сразу перекладывал на чистый рушник, который выносила ему мама, потом долго кипятил. И обязательно говорил вроде не деду, а на воздух: “Это, чтоб вы ничего такого не подумали, Хаим Исидоровоч, не уступка вашим предрассудкам, а именно и только необходимая стерилизация. То есть абсолютная чистота. Наука – вы меня, конечно, извините на грубом слове”.

Мусий засмеялся.

– Всэ! Здоровый... Здоровый, гад! Учора вмырав, а сьо-

годни здоровый. Вставай, Лазарь!

Я попытался скинуть ногу с сундука.

Рувим бросился ко мне, удержал всем своим телом.

Я махал руками, крутил шеей. Мусий добавился к Рувиму и вместе они меня утихомирили.

Мусий дал мне маленький глечик:

– Пый! Цэ вода.

Я сделал глоток, почувствовал – не вода, а самогонка. Причем, конечно, почувствовал запах еще до того, как глотнул, но каким-то чудом не закашлялся, а из принципа выцедил еще чуть-чуть.

Мусий допил оставшееся и радостно сказал:

– Оцэ так! З жидом побратався. З малым, а з жидом. Отак...

Самогон подействовал на меня в роли снотворного. За глазами, изнутри закрутилось, заметушилось, летали бабочки, гудели пчелы, но где-то далеко и глубоко – не в голове, а в самом сердце – зудела черная муха. И зудела она про Остёр. Про деда, маму... Они ж зарабатывали грóши на меня... А я тут лежу и никто не знает... Никто не знает... Никто не знает... А Рувим знает, но ему себя жальче, чем всех моих родичей, вместе взятых, по одному. Потому что он гад! И надо от него убежать. И бежать, бежать, бежать... Аж до Волчьей горы бежать... По мосточку, по мосточку, по мосто...

И тут я опять провалился в сон.

Надо отметить, что через Марика до меня доходили проверенные события революции. Мой друг увлеченно передавал рассказы своего отца про обстановку в Киеве. И Директория, и Самостийная-первая, и Самостийная-вторая. Мнение Марика было такое: всюду бурлит. И всем, без исключения из правил, настанет крышка, если пар не выпустить. А пар в такое время выпускается только с помощью революционных кишок. То есть выпускают кому надо кишки, и настанет хорошо, причем всем.

Я как-то поделился с дедом соображениями Марика, причем выдал их за свои.

Дед похвалил меня за ум и спросил:

– Ты видел, как от кишок пар идет? Лично видел?

– Видел. Свиныю закололи Власенки, так я видел. И воняло ж!.. Сильно воняло. Но то ж свинья...

– И человеческие кишки воняют. Ой как воняют!

– И кошерные? – Я честно поинтересовался, без задних мыслей.

Дед махнул рукой на мой живот и засмеялся. Долго смеялся, пока мама не дала ему воды, а меня не прогнала на двор.

Вслед мне дед прокричал:

– И начинят кишки твои горем твоим и смородом твоим, и будешь ты их тянуть за собой всю свою жизнь в себе, идиёт несчастный, голова твоя пустая свинячая!

И опять загоготал. На него иногда находило. Особенно ко-

гда слишком перемолится. Так мне мама честно объясняла.

К этим страшным словам, стоявшим в моей голове несколько месяцев каждую секунду, я и обратился, когда дело дошло до клада. Будучи уверенным, что придумать такое человек не способен, намеками приступил к деду, чтоб он мне их показал в Торе. Ну, и напомнил ему краткое содержание.

Дед удивился, что я запомнил трудное выражение, и заверил меня, что такого в Торе нет. Что это он сам. От себя. Из своих познаний жизни и из головы. И наказал мне забыть.

И так наказал, что я и вправду забыл тогда же. Как в провал вступил. И вырвал из книжки первые попавшиеся строчки.

И вот проснулся в Мусиевой хате с вопросом, который тут же закричал на воздух:

– Рувим! Рувим! У деда кишки воняли? Воняли? И у мамы воняли?

Рувим подскочил.

Положил руку мне на то место, где живот, и ответил:

– Воняли. Они мертвые, Лазарь. В Остёр мы уже не пойдём.

Своим детским непредвзятым умом я осознал положение. Клада мне не увидеть. Клад отрезан от меня навсегда. Тою шаблокою, что выпустила кишки из моей семьи.

Не имея в виду никого удивлять скитаниями и лишениями, постоянной опасностью с всех заинтересованных сторон, не буду описывать, как мы с Рувимом под видом двух братьев – старшего и младшего – добрались до города Чернигова.

Рувим устроился в лазарет, я находился при нем, там же, на побегушках.

Жили в крохотной комнатке сразу за приемным покоем.

Я оказался нагруженным обязанностями полкомойки и санитара по выносу мусора и других помоев. И так до полной победы революции. До установления советской власти на всей Украине.

Добровольческая армия ушла из Харькова, Петлюра бежал за границу, товарищ Петровский стал во главе Советской Украинской Республики, столицей объявили Харьков.

Рувим провозгласил:

– Всё! Хоть какой, а конец!

Дальше такое.

Рувим для меня наметил школу. А для себя он наметил работу, работу и еще раз работу.

Рувим очень отдавал должное книгам. Читал и читал, читал и читал. И наизусть шпарил многое. Именно Рувим убедил меня, что лучшее лекарство от текущей жизни – чтение. Еще в скитаниях по боевым дорогам он ночами пересказывал мне истории и Греции, и Рима. После того как я пожаловался на непонятность, он перешел на окружающее – и от

него я усвоил имена Гоголя, Некрасова, Надсона и ряда других.

И Рувим добился – конечно, с годами, – что единственная моя отрада нашлась-таки в книгах. Я не всегда смотрел на название – просто хватал и глотал заместо хлеба. Где обнаруживал – там и приседал за чтение. Конечно, Нат Пинкертон, Арсен Люпен, Робинзон Крузо, Жюль Верн тоже, “Остров сокровищ”, “Капитан Сорви-голова”, “Всадник без головы”.

Но такие книжки на дороге не валялись. Рувим выклянчивал у кого-то мне на одну ночь. А в старых подшивках журналов (их Рувим натаскивал целыми пудами) я обнаруживал много захватывающего – и романы из другой жизни, и наши, с русскими именами.

Особенно стихи душевного содержания сами впивались мне в сердце. “Хорошо умирать молодым”, например, мне сильно переворошили все внутри. Я ставил себя на место внезапно и нечаянно погибшего героя с кудрями, а рядом видел женщину, которая рыдает над этими самыми кудрями.

Что интересно. Мне так сильно представлялось каждое слово, так я в каждое слово в книжке проникал и повторял на разнообразные лады, что оно рассыпалось по буковке и я обратно эти самые рассыпанные буковки нанизывал, вроде на ниточку, на свое юное сознание, и в себя, уже в собственном, близком моему уму, виде и смысле, глубоко впитывал.

Я отдавал внимание и театральным постановкам. На детские свои гроши накупал семечек и стремился попасть хоть

как ближе к сцене с живыми, неподдельными людьми-артистами. Тяга к прекрасному жила и жила во мне. И во многих людях тоже, надо сказать.

Ужасное и беспощадное время диктовало свои законы – а сердце просило красоты и возвышенности. В Чернигове появлялись артистические группы даже из Киева и Харькова. И костюмы цветастые, и все тому подобное. И бархат, и другое блестящее. И декорации...

В общем, я любым образом стремился к прекрасному. И получал его там, где находил. Даже можно назвать другим словом – вырывал прекрасное с мясом и кровью.

Вот мои университеты. И мне не чужды с того раннего подросткового возраста и Шиллер, и Шекспир, и другие классические настроения.

Я даже иногда, чтоб порадовать Рувима, рассказывал вслух стихотворные строки. Не скрою, я ожидал получения заслуженной похвалы.

Но Рувим такого не любил, а перебивал меня с улыбкой и смущением:

– Не надо. Я стихи вслух не люблю.

Однажды я назло не остановился, а подряд стал кричать все, что в рифму засело в моей голове.

И тогда Рувим мне аж рот зажал и тихо приказал заткнуться, а то немедленно придушит.

Конечно, потом оправдывался и задобривал меня по-всякому.

Причину своего нелицеприятного поступка Рувим объяснил следующим образом:

– Лазарь, у тебя в голове помойное ведро. Ты к себе в голову тащишь без ошибки именно мусор. У меня есть надежда, что жизнь твою помойку почистит. Сильно почистит. Но говорю тебе как ответственный за тебя человек: разбирай уже сам. Потихоньку, а разбирай.

Сквозь залившую меня обиду я упрекнул Рувима в том, что он на меня наговаривает с перехлестом. Оскорбляет из зависти. У меня и память, и выражением я владею вроде артиста. У него же этого нема вообще. Отсюда и зависть. К тому же у меня вся жизнь впереди, а у него наоборот. А стихи, между прочим, – это мудрость человечества. И я эту мудрость сильно постигаю.

После моих разъяснений Рувим перестал таскать книги. А те, что были, уволок. Я плакал и цеплялся за отдельные листочки. Только напрасно. Рувим в своей идиотской непреклонности очистил-таки нашу комнатку.

Вспоминая деда, я невольно сравнивал себя и его.

Он всю свою жизнь мусолил одну единственную книгу – Тору. Я, в свою очередь, не собирался останавливаться. Постановил себе – читать и читать всегда и везде. А при отсутствии книг расспрашивать разнообразных людей про их случаи. И сам делал потом из этих рассказней в своем уме целые романы. И получалось, что из каждого самого незаметного

и даже глупого человека можно сделать книгу. Надо только зацепиться за какие-нибудь важные концы. А если их нету, так надо придумать от себя, из своей головы.

Постепенно я вывел единство и противоположность придумки и брехни. И отдал предпочтение брехне как наивысшей стадии придумки. Придумка имеет границы. Брехня – нет и еще раз нет.

И тут скажу важное и больше возвращаться к нему не буду.

Я – хозяин всего на свете, так как я есть хозяин себя. Все, что только существует во мне. И мыслей. Не говоря про действия.

Я – хозяин всего, что именно внутри меня. До тех пор, пока оно не выйдет наружу.

А выпускать же ж надо! Такова потребность человека и любого члена живого мира природы. То есть и мысли выпускаются. В виде слов, например. И я им уже не хозяин, получается?

И я поклялся, что буду хозяином даже после того, как каждую свою мысль, чаяние или надежду, тем более в виде слов, так или иначе выпущу.

А кто такой хозяин? Это который выпустить выпустил вроде наружу, но посчитал наперед – какая польза будет. И какой вред.

Тогда еще не было в ходу словосочетания фразы “хозяин жизни”. И думаю, хорошо. А то б я мог запутаться в раз-

мышлениях. А так – без понятия моей отдельно взятой жизни как части общего хозяйства – мир мой оказался устроенным просто и ясно.

Никому я не верю. Никому. Только себе верю. Потому что я ж знаю, где я брешу, а где нет. А за других отвечать не могу. И хочу, может, – а не могу.

Путем долгих размышлений я пришел к выводу, что брехня имеет большую созидательную силу.

Человечеству вбили в голову – нету дыма без огня. А именно что есть. И как раз если брехать совсем на пустом месте – то ожог получится особенно сильно.

Потому что человек не готов всей своей историей поколений – чтоб на пустом месте. И поверит в такую умную брехню с утроенной силой своего разума.

И тому, кто построит такую брехню, надо будет помнить каждое свое словечко и даже буквочку, чтоб находиться в курсе дальнейшего и держать дальнейшее в крепком и надежном кулаке.

Ну вот.

Да, всему прекрасному в себе я обязан книгам и их содержаниям.

Через несколько лет Рувима назначили главным врачом больницы. Не той, в которой мы жили, а большой, имени

Коммуны. Там же ему выделили хорошую комнату под жилье, в пристройке. Метров шесть, а то и все восемь. У меня появилась своя собственная кровать за занавеской, стол для занятий. Табуретка.

Для меня началась новая светлая жизнь. И такая светлая, что даже книжки постепенно, особенно с наступлением взросления организма, стали мне практически ни к чему. Мертвые слова больше не желали оживать под воздействием моего воображения. Потому что воображение и стало самой правдой. Да. Именно так. И нужны были силы не для воображения слов, а для самой жизни.

Рувима я почти не видел. Но всегда ощущал его теплую заботу в виде куска хлеба и стакана чая.

И вот однажды в самом начале зимы 23-го года я с группой товарищей-старшеклассников шел на горку – покататься на торбе с учебниками и тетрадками, которые делались с помощью скрепления из газетных листов. После занятий – как было принято в то время у школьников.

Еще не совсем стемнело. Мимо нас промчался открытый автомобиль. Что само по себе являлось тогда в Чернигове редкостью. Рядом с шофером сидел дядька в хорошем воротнике зимнего пальто. Без шапки, я это отметил особо. Волосы его развевались на ветру и блестели в красивом вихре снежинок. Я красоту всегда отмечал и даже иногда плакал от

ее силы. В ту минуту я не заплакал. Потому что узнал Переца Шкловского – отца моего детского друга Марика. Ошибиться не мог. Узнал не глазами, а самим своим сердцем.

Я закричал:

– Шкловский! Товарищ Шкловский! Ура!

Автомобиль умчался безответно.

Ночью, когда Рувим возвратился с работы, я сообщил про Шкловского.

Радости в лице Рувима не обнаружилось. Наоборот.

Он сказал:

– А... Увидел-таки... Давно знаю, что он тут. И он знает про нас. Марика нет. Потерялся. С слов Переца, конечно.

– Так ты с ним говорил? Раз он на целом автомобиле и с воротником, он, наверно, большой человек в Чернигове!

Я загорелся желанием встретиться с Перцем. В одну минуту надоело находиться рядом с Рувимом, видеть одних только больных, а здоровых редко, и то в школе.

Правда, что касается жизненного образования, то я его как раз в больнице и получал по горло. Что слышал, что додумывал в ходе размышлений. Когда человек больной, он говорит свободно. Особенно любит приводить примеры из действительности. И я научился действительность чуять не просто душой, а чем-то еще без души.

Неоднократно получал подтверждения от людей насчет

того, что я удивительно и беспримерно умный.

Поэтому взрослость меня посетила рано. Причем я выглядел хорошо – и рост (правда, не сильно высокий), и сложение, и лицо.

Ну вот.

Перец теперь без сына. А я чем ему не сын? И по возрасту как Марик.

Это пронеслось во мне острой молнией.

Я вцепился в рубашку Рувима:

– Давай я к нему схожу! Про Марика хочу узнать! Марик же мой друг был! Ты мне почему раньше про них не рассказал? Почему? Ты предатель! И про деда с мамой сразу тогда не рассказал! Из-за тебя их убили! И про Переца с Мариком утаил! А у него и машина, и пальто, и все...

Я зарыдал открытыми юными слезами.

Рувим не участвовал в моем горе. Лег, как был в одежде, на койку и повернулся к стене.

Утром я обнаружил записку на столе, рядом с хлебом и стаканом теплой воды. Глотнул воду – сладковатая. Сколько раз просил Рувима – не размешивать кусочек сахара в воде, а оставлять рядом. Я б этот склочек обменял на что-нибудь в школе. Так нет же ж! Обязательно намешает, намешает... Назло, конечно. Теперь я точно знал: назло.

Буквы в записке прямые, точные.

“Адрес Шкловского. Улица Святомиколаевская, дом 2. За Марьиной рощей”.

Вместо школы отправился по указанному адресу.

Стучал в калитку, в ворота, пока не убедился, что, кроме собаки, за забором никого нету. Походил неподалеку, съел хлеб, который на случай взял из дома.

Холод заставил меня приступить к обязательным действиям, так как покидать место жительства Шкловского я не имел в виду.

Нашел слабо прибитую доску, преодолел преграду забора и оказался на дворе. Обошел дом с всех сторон, подергал двери, окна. Закрыто крепко.

Хозяйства не было – ни кур, ничего.

Сделал вывод, что Перец живет один. Один как перст. И надо с всех сил дожидаться его явления.

Если б не помехи с стороны собаки, которая беспрерывно гавкала и тянулась ко мне с целью укусить как непрошеного гостя – спасибо, цепь не пускала, – ожидание было б даже приятным. Светило зимнее солнце, с крыши легко капало. Под бушлатом меня согревала еще и баранья душегрейка. В подшитые валенки напихано бумажек для тепла – Рувим притаскивал старые истории болезней, так что холод под таким напором отступал.

Я рассчитал, что услышу издалека ход автомобиля и тогда повернусь спиной к калитке, чтоб вошедший не видел моего

лица. Чтоб принял меня за другого – хоть бы за своего пропавшего сына Марика. Чтоб чувство радости захватило Переца, и на этой радостной волне он обнял бы меня с спины, не разбирая ничего на свете. А потом уже как-нибудь.

Но все-таки я отменил свое решение. Не надо давать пустой надежды. Надо встретить Шкловского лицом к лицу. Пускай сразу видит – я не Марик. Меня как такового он, конечно, не узнает в первые секунды. А потом как-нибудь.

Нога моя, разодранная при переходе через остёрский мосток, давно меня не беспокоила. А тут вдруг заныла. И так заныла – прямо плачь. Слезы выступили и сами собой потекли вниз.

Сумерки сгустились незаметно. Люди начали возвращаться кто откуда, с работы и прочее. Больше слышались голоса за забором, на улице. Проезжали подводы; Святомиколаевская – одна из главных улиц города, прямиком до базарной площади. Продавцы разъезжались по селам. Дети кричали, верещали на всю свою неосознанную дурь.

В шуме я не уследил, как рыпнула калитка и на двор ступил Шкловский. Собака приветственно залаяла в его сторону.

Перец бросил кому-то за спиной:

– Щас уведу Шмулика! Подожди, золотце! Я щас! Я его с утра не отпускал с цепи, так тебя ожидал в душе, так ожидал...

Я понял – мой план порушен. Перец получился не один.
Я спрятался за угол.

Перец вел под ручку женщину в пальто и говорил ей под ноги:

– Осторожно, золотце, не спотыкнися, не спотыкнися! Ты ж как навернешься, я ж тебя не подниму...

Он смеялся. Он шутил. И женщина тоже смеялась.

Невообразимая тоска пополам с болью от ноги накрыла меня всего.

Возвращаться к Рувиму казалось в ту минуту невозможно.

В доме засветились окна. Я рассмотрел сквозь мережковые занавески обстановку. Диван, зеркало, большой стол, часы на стене.

Открылась форточка, и голос Шкловского произнес:

– Нас никто не видел, не волнуйся, золотце, щас покушаем, трохи выпьем, и сами себе хозяевá... Ну, я хотел сказать, ты – хозяйка, а я так, сбоку припека... Шмулика выпущу – пускай хлеб отслуживает. Не бойся, золотце, Шмулик никого не пустит!

Шкловский говорил так, как говорят с собой. Он курил и впускал дым в форточку. А сзади него женщина смеялась, как зарезанная.

Шкловский отпустил с цепи собаку, я оказался отделен от калитки. Пока хозяин возился с собакой, я юркнул в уборную и закрылся на щеколду. Причем трясся от страха – вдруг Перецу станет надо.

Слышал в темноте, как зазвенела об стеклянный лед струя где-то неподалеку, как Перец чертыхался. Наверно, потому что плохо застегивал пуговицы на штанах сильно нахолодавшими пальцами.

Дверь опять грянула. Собака лаяла под самими дверями уборной, бегала взад-вперед. Сквозь щели я видел черное небо в ранних звездах.

Через некоторое время я отчаянно приоткрыл дверь уборной. Собака отвлеклась на что-то другое.

Я бросился к двери дома и закричал:

– Откройте! Откройте!

Когда прошло некоторое молчание, Перец через дверь спросил тревожным голосом:

– Кто там?

– Открывайте! Ну, пожалуйста! А то я замерзну прямо до смерти! Вам же ж хуже будет!

Для жалости я заранее снял шапку, засунул в карман, размотал тряпку в роли шарфа и тоже спрятал. Похвалил себя, что без школьного сидора, совсем без ничего. Нету у меня ничего. Нету. Только я сам и тряпье на мне.

Шкловский открыл дверь не на всю ширь, а чуть-чуть –

частично просунул лицо.

Я не ждал его каких-нибудь слов, а сказал:

– Вам привет от Марика. Пустите.

Сказал первое, что в голову залетело.

Перец вскрикнул, даже захрипело у него в горле.

Схватил меня за рукав и сильно потянул. Гнилые нитки не выдержали – рукав почти весь оторвался от плеча. Я нарочно еще дернулся. Еще и еще. Рукав слез до локтя и повис лишней длиной.

Я перехватил его другой рукой и сказал:

– Холодно... А вы меня еще холодите. Пустите! Ради Бога, пустите!

И сам ступил в дом, мимо Переца. В свет, туда, где чем-то красиво пахло и что-то хорошее стояло на столе.

За столом сидела женщина. Молодая. Особенно если равнять с Шкловским, который хоть тоже был далеко не старый, но все-таки. Пышная. От того, что пальто на ней не было, она не получилась меньше.

Я сказал:

– Какая ж вы красивая! Как моя мама...

Женщина как раз подносила вилку, рот ее не закрылся в готовности проглотить. И потому слова ее оказались кривые. Она ж готовилась не говорить, а кушать:

– Хлопчик, ты кто?

Я ответил ей лично, на Переца не оглянулся:

– Не волнуйтесь, тетя. Я пришел не кушать и не греться. У меня все есть. И дом, и еда какая-никакая. Я просто тут посижу, посмотрю на дядю Переца. Я с его сыном сильно дружил. Вот по памяти явился. Вы ж меня не прогоните, дядя Перец?

Шкловский переводил взгляд с меня на женщину.

Наконец проговорил:

– Ты кто? Я последний раз тебя спрашиваю! Какой друг?

Женщина встала, подошла ближе.

Я говорил именно в ее сторону:

– Я сирота. Лазарь Гойхман. Друг Марика. Вспомнили?

Вроде я просил вспомнить женщину, а не Шкловского.

Она замотала головой отрицательно.

Шкловский схватил меня за плечи. Повернул к себе:

– Лазарь? Гойхман? Тебя ж вместе с дедом и матерью зарубили! Мне Рувим сказал. На его собственных глазах. Так и сказал.

– Вы Рувима не слушайте! Ну, раз вы живы-здоровы, и жена у вас такая, я пойду. Только если правда – некуда мне идти.

Про то, что живу у Рувима и на его хлебе, говорить не хотелось. Думал я только про то, что продукты на столе съедятся без меня – теткой и Шкловским, и будут они в их животах, где наверняка места мало уже и от прошлой еды.

Шкловский молчал. И в тишине держал меня за плечи.

Женщина заговорила спокойно и наигранно:

– Засиделась я у вас, товарищ Шкловский... Рабочие вопросы мы решили. Отвлекать вас от домашнего не буду. До свиданья. Пойду. Вы меня только за калитку выведите, а то ваша собака до чужих лютая. И как хлопчика не погрызла, удивляюсь...

Шкловский очнулся:

– Провожу, провожу... Тут, понимаете, такая встреча. А у нас с вами все работа и работа... Все работа и работа...

Он отпустил меня, вроде с горы столкнул.

Вышел за женщиной.

Хлопнула дверь, раздался лай Шмулика, звякнул крюк на калитке.

Я различал каждый звук по отдельности. Ничего мне не надо было. Ни еды. Ни тепла. Я хотел выблевать все, что только что было, все, что я наговорил, набрехал, напридумал. Нагадил. Чтоб внутри меня и в голове опять стало чисто.

Но когда Шкловский вошел в комнату в своем пальто с воротником из серой смушки, я сказал:

– Помните, Музыкаixa, жена Павла Музыкаенка, скорняка, себе воротник справила – точно такой, как ваш. У мужа с-под носа шкурки сперла и себе справила. Мама у нас в погребке Музыкаиху прятала, когда за ней Павло гонялся. Мы с Мариком сверху сидели, на крышке, пели громко, чтоб в случае чего Павла отвлечь. А он к нам в хату и не забежал. А

Музычиха воротник у нас потом спорола и маме оставила на хранение. А так и не забрала. А потом маму убили. Летом. А то зима была. Помните? Вам обязательно Марик рассказывал, вспомните!

Я говорил теперь прямо в глаза Перецу. Не понимаю, как этот случай выплыл в памяти, только я бубнил про баранчиковый воротник Музычихи без передышки. И Перец без передышки слушал и кивал моим правдивым словам.

Вдруг в калитку кто-то громко застучал палкой. Мужской голос, не стесняясь улицы, рычал про кровавую расправу по поводу женской измены. Грозился спалить дом из пулемета, если скоренько не откроют.

Шкловский кинулся на двор.

Вернулся с полдороги, гаркнул:

– Снимай с себя мотлох, сидай за стол! Жри!

Я скинул верхнее, сел за стол, к тарелке, из которой ела женщина. Руки сами потянулись за чем-то, что лежало по всей скатерти – в тарелочках и вазочках. Концы зубчиков вилки краснели от красной помады. Облизал, почувствовал сладость, вспомнил про трохи-трохи сладковатую утреннюю воду, с новой силой разозлился на Рувима и налетел на еду с всем голодом юного мужающего организма. Хватал руками и запихивал в самые свои кишки, глубоко, безвозвратно.

Шкловский привел мужчину в кожанке. Тот был даже по

виду пьяный, с наганом в руке. Расхристанный.

Перец твердым голосом пел:

– Вот, будь ласка, посмотрите... У меня сегодня радость великая! Великая, точно вам говорю! Вы, Алексей Васильевич, вовремя. Будете почетным гостем. Это мой сын. Нашелся после небывалых скитаний. Я ж вам рассказывал, вы ж знаете мои переживания... А он – вот! Живой и нашелся сам! Как раз буквально несколько минут назад лично в мою дверь постучался. Прямо с дороги. Голый-босый, голодный... Сыночка, родненький! Иди уже отдыхать! А то с непривычки перекушаешься...

Шкловский умоляюще и злостно смотрел мне в глаза. Скоренько подскочил и заходился больно гладить по голове.

Я встал из-за стола и тихо сказал:

– Ага, папа... Я спать пойду. Куда мне?

Перец схватил меня в охапку и потащил в соседнюю комнату.

Мужчина вслед прокричал, вроде мы были сильно далеко, на каком-то совсем другом берегу:

– Отак! Сын! А я ж тебе говорил, шо znajдется! А ты не верил! А я всегда верю! Не уводи хлопца, хай посидит! Расскажет, где был! Тоже ж вопросы возникают, как говорится! Точно твой сын?! Особые приметы смотрел?! Ну куда ж ты его тащишь?! Давай сюды сажай, перед мной! Я с ним побалакаю! По-доброму! Но по всей строгой законности времени!

Перец на минуту ослабился, но тут же и ускорил шаг:

– Имей сердце, товарищ Ракло! То ж тебе не контра, а дите! Хай поспит хлопец...

Перец затолкал меня в комнату, показал рукой на кровать – уже расстеленную, с горой подушек, чистую и мягкую даже на первое впечатление.

– Спи!

– Не хочу! Я ж вам не сын. Зачем брешете? – промямлил я сквозь приближающийся сон, еще на ногах.

Будем откровенны – мой ум работал трезво.

Перец строго сказал:

– Завтра разберемся. Выйдешь – дядька тебя приберет. Он без ума совсем. Скаженный.

Я свалился в перину и утонул там. Утонул счастливый.

Меня разбудил Шкловский. Растолкал, приказал вставать.

Я при нем встать не мог никак. Ночью у меня произошла случайность – от мягкости, от тепла и, что греха таить, от пережитого страха. Обнаружить это при Шкловском я ни за что не мог. К тому же надо было собраться с мыслями и сделать план.

Я ответил вроде сонно:

– Что-то холодно очень... У меня, наверно, какая-то зараза. Вчера замерз... Глаза не разлепляются... И в голове кружится... Я боюсь сразу упасть... Вы идите, не стойте над

мною... А то на вас перекинется... Я еще только минуточку... И встану...

Шкловский пощупал мой лоб и бросил:

– Вставай, мне уже пора с хаты...

Он вышел большими шагами. Я заметил, что одна пола меховой жилетки на Переце отлетает легко, а вторая неподвижная – в кармане что-то тяжелое. Решил, что наган.

Не то чтоб я испугался оружия. Я оружия повидал сколько хотите. Но собственное положение увиделось мне в новом освещении.

Я пришел в дом с заявлением, что принес привет от Марика. Марик пропал давно. Женщина – любовница Шкловского. Точно – никакая, конечно, не жена, сразу ж видно. И не гулящая – гулящих так не кормят. Я в больнице среди выздоравливающих столько наслушался про подобное – целый роман... Я Шкловскому помешал. А он, вместо того чтоб злиться, посадил меня за стол как родного. Объявил меня сыном перед лицом дядьки с наганом. Скаженный дядька кричал про измену и в дом ломился. Думал, там его жена. А тут я. Причем родной сын из пропажи объявился. Сразу весь коленкор переменялся. Такое убеждение Шкловскому подарил именно я. Сыновым дружкой всякий может назваться. И что такого? Недостойно внимания. А сыном!.. С таким не поспоришь, если ты человек с горячим сердцем. Просыпается уважение и радость соучастия в небывалом событии.

Напились они, конечно, вчера за мое здоровье. А сегодня – что?

Сегодня я уже и не сын родной? Вот в чем, между прочим, вопрос вопросов.

Скоренько встал, стащил простыню, скомкал, наволочки с подушек содрал, одежду, белье свое мокрое-стыдное, рубашку, штаны, все ворохом к себе прижал и в таком положении, босой явился в комнату с словами:

– Ты это сожги, папа, хоть оно и хорошее, у меня, может, вши или еще что... Я столько блукал по разным местам... Сам же ж знаешь...

Шкловский смотрел на меня с страшным ужасом.

Я продолжил:

– Жги! Жги, папа! Боишься – так давай я сам!

Еще вчера я обратил внимание на красивую печку. Бросил тряпки на пол и ногой толкнул кучу поближе к ней.

Пока Перец остолбеневшими глазами пялился без определенной точки, я открыл заслонку на всю широту и стал захихивать мотлох в огонь. Кое-что вываливалось. Я помогал тому, что вываливалось, босыми ногами. Угольки жглись, и я их отшвыривал в разные стороны. Я не ставил в план, чтоб получилось плохое. Но это ж огонь...

Шкловский закричал:

– Пожар! Пожар!

На столе стоял самовар. Но все внимание Переца ушло на

меня. И пришлось самому крикнуть Перецу, чтоб он поливал огонь из самовара.

Как-то ж управились...

Я извинился, что получилось вот такое... Причем напомнил, что еще ж бушлат и шапка где-то, и валенки, и портяночки мягенькие да тепленькие...

Говорю:

– Щас найду, спалим, а тогда уже спокойно чая похлебаем. Да, папа? Так же ж?

Шкловский стоял с пустым самоваром и качал его туда-сюда, и головой мотал точно так:

– Ты шо, ты шо, ты шо, ты шо...

Я у него самовар аккуратно забрал из рук и говорю:

– А может, папа, остальное палить и не надо. Оно ж на морозе все время. Никакая зараза мороза не выносит. Правда ж? Очень кушать хочется, папа. От вчерашнего что-нибудь осталось? А в кармане у тебя что? Оружие? Ты меня убьешь?

Шкловский похлопал себя в области карманов, вроде обыскивал. В немоте достал огромное портмоне толстой кожи, посмотрел на него. И ничего не ответил. Положил обратно. Видно, теплая блестящая кожа с деньжищами вернула Переца в свое чувство.

Шкловский приступил ко мне всем своим телом и спросил:

– Этим, что ли, прибую? Я и этим могу. Я чем захочу – тем и смогу. Шо за комедию ты мне тут ломаешь? Ты дурной

или шо? Щас тебе тряпки дам, напяливай и дуй до горы!
Сынок... Морда твоя паршивая свинячая, а не сынок!

Этого мне и надо было.

Я сел за стол, положил руки на колени и высказал следующее:

– Ага... И баба вчерашняя, и скаженный тот, Ракло по фамилии, вы ж и фамилию сказали, сами и сказали, я не выманивал у вас, что вчера его обхаживали да обкармливали – водкой заливали, они ж тоже меня уже никогда видеть своими очами не пожелают. Раз я вам не сын. И вместе они не пожелают, и по отдельности тоже никак не пожелают меня видеть. Ну я ж не сын вам... Только я вас брехать им не просил. Особенно дядьке. Вы думаете, раз я хлопец, так я ничего не понимаю. А я понимаю ой как! И что я вчера вас спас – вы меня вместо бабы за стол наглядно посадили. Дядька за своей женой сюда явился. По наводке пришел, точно. А тут наоборот. А если б я вчера рот свой раскрыл и гавкнул, что так и так, дяденька, я тут просто нахожусь, на минуточку, погреться, а вот тут до меня с-под вашей руки-ноги дамочка убежала, недокушала-недопила своими красными губками, чернявенькая, пухленькая, в пальтишке с хорошей материи и ботиночках на шнуровке. Вот ее мазилка с ее рота на вилочке осталась... А? Вчера не сказал. А сегодня уже скажу. Може. А може, и не скажу. А тот дядька сегодня ж проспался, и чи вспомнит, чи не вспомнит. Вы ж надеетесь – не вспомнит. А если и так. А если я ему напомним? И мадамочке

надо скорей сказать, что я вам вроде сын. А то Ракло ж знает, шо сын. А она ж и не знает. Он ей про сына – а она сдуру вставит: “Какой сын? Не сын, а дружок сынов”. Так и проговариваются. Аж до смерти проговариваются. Правильно ж? А если вы сомневаетесь, что я сам товарища Ракла разыщу, так вы не сомневайтесь. Фамилия редкая, при нагане человек, в кожанке, жена у него вон какая, заметная – значит, он при должности. Значит, и партийный. Я ж обязательно найду... Вы не бойтесь!..

Шкловский крепко стоял на ногах и готовился ответить на мои постановления.

Но, видно, дым из форточки и сквозь щели насторожил соседей. В ворота и в калитку барабанили и орали соответствующие слова. Собака лаяла, аж заходилась.

Шкловский распахнул створку окна.

Мороз залез в комнату, и голос у Переца сразу стал морозный:

– Никакой не пожар! То полено выпало, искра! Уже потушил! Не грюкайте!

Я подошел под его спину и выглянул так, чтоб люди сквозь дырки в заборе, а кто-то ж наверняка смотрел, увидели меня как такового.

Причем я громко и ясно прокричал:

– Идите по домам! Мы с папой все потушили!

Шкловский резко повернулся к моему лицу, сверльнул глазами и выдохнул:

– Гад!

С того дня я начал жить у Переца на правах родного сына.

Для уверенности я вызнал, где живет Ракло с женой Розалией. День простоял возле дома, где помещалось Губчека, увидел, как Ракло боевито заходит и выскакивает туда-сюда. Потом перебежками проводил его по месту жительства. Оказалось – недалеко от Рувимовой больницы. В большом доме. Аж сердце прищемило – зайти б, проведать... Но я обещал Шкловскому, что с Рувимом – никаких встреч, что он сам уладит переходные дела.

Возле этого же дома и дамочку встретил – ту, из-за которой моя жизнь закрутилась новым кругом. Оказалось – точно, жена Ракла, Роза, Розалия Семеновна. Я у хлопцев спросил – на дворе гуляли. Они и квартиру мне сказали.

Потом как-то нарочно немножко ей на ботиночек наступил, не больно... Извинился, конечно, и шепнул: или не забыл ей товарищ Шкловский сообщить, что я теперь у него живу как сын, и что товарищ Ракло про меня знает. И что я ни за что забыть не могу, какая она красивая у товарища Шкловского за столом сидела и игриво смеялась.

Так же хлопцы в другой раз сообщили мне, что Розалия работает по разряду образования. А ее муж – скаженный и может любого застрелить и ничего ему за это дело не будет, потому что он имеет право с мандатом. Стоило мне такое известие две папиросы. Их я купил на базаре из тех денег,

которые мне Шкловский давал на личные нужды.

Что греха таить. Я думал напервах, что Рувим придет меня забирать, упрашивать вернуться, стыдить за мое такое поведение. А только нет, не пришел Рувим. И я зла на Либи-на не держал. Зла у меня вообще не существовало, я, между прочим, не раз за собой подмечал. А тут такое дело. Ему ж без меня лучше. Еще свободней.

В первые дни Перец за мной буквально следил – вплоть до устройства провокаций на разнообразные темы.

Например, вдруг спрашивал, куда я подевался в тот день, когда убили моих деда и маму. Я честно ответил, что не помню, а помню только, что по хлопчачим делам.

Или такое: какого черта мы с Мариком терлись возле Волчьей горы – кто-то там нас видел из остёрских.

Или: может, рассказывал мне Марик что-нибудь про домашние обстоятельства, про своих каких-нибудь других родственников.

Я мычал неопределенное и туманное.

И делал зарубки в памяти.

Перец быстро отставал, не сильно интересовался моим любым ответом. Спросит – вроде укусит, а укусит – отбежит в сторону.

Я держал себя настороже и не болтал.

Виделись мы лицом к лицу редко.

Питался я хорошо. Одежду мне Перец выдал малоношеную, хорошую. И что нужно – из белья и верхнего теплого.

Конечно, по возрасту я мог пойти работать. Раньше, при Рувиме, если б что, я так и поступил бы. Но теперь мне сильно захотелось еще поучиться, и я попросил, чтоб Перец устроил меня на класс меньше, чем полагалось бы. Переростков тогда было много, и это не считалось стыдным.

В новую школу Перец меня определил в предпоследний, шестой класс. Школа расположилась на Валу, где до революции была женская гимназия и куда на какой-то великий праздник заезжал сам царь Николай Второй Кровавый. Уроки там вели спокойно, так как ученики подобрались все чистые и спокойные. Место располагало. Не то что в старой школе.

Фамилия и имя фактически сохранились при мне. Никого не удивишь – я представлялся Мариком Шкловским, так и значился в школьных журналах, новым товарищам я рассказал про находку отца и про то, что у меня в результате два имени и две фамилии. Отзывался я и на Лазаря, и на Марика.

Я скоро оказался на хорошем счету. Причем выделился на общем фоне. В комсомол пока не вступал, но должную активность проявлял.

А с Перцем было так.

Я попросил коньки – и у меня появились норвеги. Как рядышком с школой расчистили на деснянском льду каток, и я там катался – научился с самого первого раза. Лезвия резали лед, и многие высказывали недовольство, что после меня надо зачищать. Но я весело смеялся в ответ. Конечно, дело состояло в зависти. А если включена зависть, спорить всегда и везде бесполезно.

Некоторые недоразумения беспокоили меня, но я их откладывал, потому что справедливо рассудил – распутывать неясное пока не надо.

Примерно через месяц я спросил у Шкловского, или он искал Марика и, может, есть сведения любого рода в этом отношении. Перец зыркнул в мою сторону и сказал, чтоб я эту тему не открывал никогда.

Как-то я намекнул Перцу что-то про хороший дом, в котором живет Ракло с женой, и закруглил:

– Алексей – большой начальник, у него все в кулаке. Вы б его попросили, может, ваш Марик в детском доме где-нибудь как беспризорник или в колонии для малолетних преступников. Зато живой. Я б до самого товарища Дзержинского дошел. Хотите, я с вами к товарищу Раклу пойду? Вместе будем просить. Вечерком как-нибудь, чтоб жена его Розалия Семеновна дома была обязательно. Она добрая. Точно слово за нас скажет!

Шкловский бросил свое обычное:

– Гад!

И все.

За что человек платит в основном? За сиюминутность. Человеку надо решать сиюминутность. И он ее решает любым путем. Про дальнейшее не рассуждает.

Перец в ту роковую для себя минуту перед Раклом спасал собственную жизнь от смерти. И вот что получилось. Я только воспользовался щелочкой и пролез в его спасенную жизнь. Мне себя стыдить и виноватить не за что. Называет меня гадом – его полное право. Перед ним я вроде и гад. А на самом деле – не гад. У меня есть я и есть обязанность заботиться.

Первоочередная забота состояла в том, чтобы прояснить вопрос с Рувимом. Без обиды с моей стороны.

Зачем он сказал Перцу, что меня убили вместе с родителями? Какую пользу для себя преследовал в такой нахальной и жестокой брехне?

Это для начала разговора. Потом как пойдет.

Дверь осталась по-старому – без замка.

Рувим после трудового дня лежал на топчане. Комната находилась в полном порядке. Моя бывшая койка застелена одеялом. Но матраца не было. Видно, Рувим сдал его обрат-

но на нужды больницы. Причем подушку взял себе. Я сразу заметил – у него под головой высоко. При мне один блин подкладывал.

Говорю с порога:

– Отдыхаешь, Рувим?

Он на мой голос не повернулся, но ответил, что интересно, без волнения:

– Отдыхаю перед дежурством. Дай поспать. Ты насовсем или мимо гулял?

– Гулял. Можно мне на свою кровать прилечь? Чтоб ты не вставал. Говорить удобней.

Завалился на койку. Но ботинки – новые, тяжелые, с железными гвоздиками по толстой подметке, с подковками на каблуках – расшнуровал и громко поставил на отдалении. Для впечатления.

– Рувим, ты зачем меня перед Перецом похоронил? Зачем придумал, что меня струковцы зарубили вместе с мамой и дедом? Какая тебе была польза?

Рувим медленно поднял голову, но не в мою сторону, а вроде вверх, чтоб больше заглотнуть воздуха:

– Сказал и сказал... Какая теперь разница? Ты ж все равно оказался с ним.

– А тебе не все равно, с кем я буду? Я при тебе вроде наймита работал. А с Перецом прямо катаюсь в масле. Что ты мне чужой, что он. Только масло есть масло. Правильно ж?

– Правильно, – ответил Рувим. – Хороший ты хлопец, Ла-

зарь. Кушай на здоровье. Тебе ж еще жить и жить.

– Вот именно. Не крути, Рувимчик! Скажи про Марика! Мне очень надо знать.

– Марик вместо тебя подставился. Когда я к твоим явился, Марик там крутился, спрашивал, куда ты пошел, когда... Его Перец подослал.

– Да никакой не Перец! Марик про клад прибежал разведывать! Мы ж с ним клад на Волчьей горе искали!

Рувим рассмеялся. Хоть вяло, но с веселым намерением.

– Ой, клад!.. На Волчьей горе у Переца не клад, а склад был. Он там ворованный товар прятал. Пуговицы. Может, еще что. Наверно, из Марика вытряс, что вы под горой крутились, вот и послал за тобой, чтоб и с тебя допрос снять. А тебя и нету. Марик побоялся домой возвращаться – без тебя. Сидел, ждал, когда объявишься. Ну, сначала я явился. Потом струковцы. То, се. Деда и маму твоих правда убили. Как я и говорил. Марика полоснули. Сколько ему надо было? Малой же. И не крикнул. Ну вот. Потом ты знаешь...

Я немножко подумал.

Ну, убили Марика. Понятно. Что ж, Перец, отец родной, его не шукал? Знал, что он в нашу хату пошел, подосланный, между прочим, как шпион.

Я высказал сомнения Рувиму. Но ответа не получил. Рувим заснул странным образом: с полуоткрытыми глазами, мутными, без цвета, вместо цвета – чернющие зрачки.

Я его толкал-толкал, орал даже с помощью различных гру-

бых слов. Напрасно.

На мой крик заглянула санитарка баба Надя – она меня сильно любила, всегда совала куски хлеба или сухарики. Подгорелые, зато от чистого сердца.

Махнула рукой, чтоб не орал.

– Шо ж... Ниякого толку не зробіш. Вин же пид откос пийшов, биднэсэнкый. Морхвий соби робыть. – Наугад запустила руку под топчан. Пошарудела там – на свет выкатилась ампула. – Никóму нэ кажи! Все и так знают, а тоби грих про ридну людыну на все боки разносыты. Ты ж своих батькив знайшов... Рувымчик казав. Радувався... Ну, иды, иды соби, потим прийдэш...

– Пойду. Ему ж на дежурство. Встанет, куда денется...

– Якэ йому дежурство? Нэ сьогодни-завтра прогонять звидсы. Иды, ще до тэбэ напросыться житы...

Добрая женщина открыла мне печальную картину Рувима. При всей своей взрослости я за Рувимом ничего такого не замечал. И вот. Ну, сгонят его с больничной комнаты. Но куда-то ж он пойдет доживать свою жизнь. Когда Рувим окончательно где-то на новом месте устроится, я продолжу. Потому что если устроится не окончательно, то, может, и правда напроситься по старой памяти. Перец его, ясно, выставит. А на меня тень ляжет. А мне ж лишнего не надо. То есть мне лишнего нельзя.

Я показательно похлопал носом перед бабкой и попро-

сил обязательно сохранить новый адрес Рувима, как-то ж это станет известно – кругом все знакомые-перезнакомые. Мне в связи с срочным перемещением отца некогда тут за Рувимом следить. А то б, конечно.

Когда проходил сквозь базар на Пятницкой площади, заметил Переца. Он разговаривал с Розалией. Стояли они друг от друга на некотором близком расстоянии, но как совсем посторонние. Женщина краем рта вроде выталкивала из себя слова в сторону Переца, а тот мотал головой, ловил в себя. Словит и кивнет, словит и кивнет.

Разошлись они в разные концы.

Я выбрал и пошел за Розалией.

Она двигалась быстро, снег от нахлынувшего не по времени тепла таял, а по краям дороги взялся льдинками сверху. Так эти льдинки она лапами пальто сметала. Аж крошки летели.

Дошла до своего дома, через пару минут выскочила с корзинкой. В корзинке что-то завернуто в рушничок. Она бегом по направлению к Пятницкой. Я – за ней.

За церковью на самом подступе к торговым рядам стояло дерево. Дуб высоченный, толстенный. Под ним навалили гору мусора – с базара наносили всякую гадость. Розалия достала из корзинки сверток, засунула под кучу. И побежала через дорогу.

С своей стороны, я осмотрелся кругом. Никого. Время такое – базар последние куски добирает, люди ни туда, ни обратно. И темнеет.

Я вытащил пакуночек за самый край материи – тяжеленький... Полотно развернулось само собой – на грязнящий снег упал револьвер. Я на него наступил, чтоб прикрыть. И не хотел, а получилось удачно.

Слышу, сзади кто-то подходит. Крадучись. Оглянулся – Перец. Различил меня и повернулся спиной. И дернул с места. Причем вспрыгнул вроде козла. Видно, ноги не сразу с перепугу вспомнили, как ступать правильно. Он голове команду дал, а до низа ж не дошло.

С оружием я сразу почувствовал себя. Принял решение молчать. На вопросы Переца отвечать буквально отрицанием.

Отрицание – непобедимое средство борьбы. Хоть вся правда как на ладони, а ты отрицай! И никогда тебе никто ничего не сделает.

Я сто раз перерывал все в доме на Святомиколаевской. А как же. Только ничего интересного не обнаруживалось. Чем занимался Перец, в чем состояла его суть – для меня оставалось невозможной загадкой. Но я чутьем чувствовал, что после укрепления в доме надо приступить к разгадке положения Шкловского. От этого зависели мои дальнейшие планы, которые надо было делать поскорей, чтоб не задерживаться

на месте, а идти вперед, к светлому будущему.

Нажраться, придеться – даже и не цель, а необходимость, чтоб потом, с приходом нужного времени, принести пользу. Главное – впереди. Для того и произошла великая революция.

У меня было убежище. На окраине города, за Троицким монастырем, привольно раскинулся лес.

Чуть дальше – Десна. Мост через реку большой, высокий. Там начинался Киевский шлях.

Я полюбил то местечко. Опоры моста толстенные, деревянные, в три обхвата. Мне всегда нравилось сидеть на берегу, под старой вербой, смотреть на воду, на зеленые отила и от веков балки, мечтать о чем-нибудь в связи с таинственными Антониевыми пещерами неподалеку, подземным ходом аж до Киевской лавры и тому подобное.

Как-то летом я придумал устроить ночевку на открытом воздухе. Прилег, почти заснул. И вдруг – огромная собака, лает и лает, прямо лезет на меня. Я и так, и так – никак! Испугался. Путь спасения оказался один – наверх. Вскарабкался на вербу по гладкому стовбуру – ни веточки, ни зацепочки, чисто, гладко... Лезу и лезу, лезу и лезу, вроде на небо. И попадаю ногой на ровенькую ступеньку, потом – на еще одну. И вижу сиденье – раздваиваются две толстенные ветки. Причем трошки повыше на одной ветке дупло, хоть

еду храни, хоть что. И кто-то ж этот пункт оборудовал себе с неизвестной целью. Поручни приделал с боков – сиди хоть сто лет. Поворозочкой себя привяжи через поручни – спи и не свалишься. Наверно, беляки или наши следили за мостом – тут их дозорные располагались и исполняли свой долг до последней капли. По крайней мере наши.

Именно к своей секретной схованке я и отправился с револьвером в кармане. Там, на высоте, и спрятал моего железного товарища. По-всякому снизу посмотрел – ничего не видно.

Со спокойным сердцем в бодрой холоднющей темноте я отправился домой – к Перецу.

Надо сказать, Перец теперь виделся мне совсем по-другому, чем когда я был в прошлом ребенком. Дети взрослых и не видят насквозь. По невозможности соединить законы собственной детской жизни с жизнью как таковой. Дети – отдельные, и взрослые подобную отдельность поощряют, чтобы запутать и не допустить до себя. От того и встречается проблема.

И вот этот вот Шкловский с моим остёрским не сшивался. Никак. По всем статьям. Он вроде артиста перешел на новую роль.

Ну, так.

Перец свое зло на меня не скрывал. Некоторые неумные считают, что задабриванием неприятеля можно кое-чего достигнуть. И крепко ошибаются.

Я сразу раскусил настоящую манеру Переца. Он относился ко мне открыто враждебно и проявлял обычное враждебное терпение в мою сторону. Он показывал, что осознает мне цену и именно эту цену мне выплачивает в виде питания, одежды и прочих человеческих удобств. И продолжаться такое положение будет до тех пор, пока что-то не освободит его от ненужных ему обязательств.

Крючок у меня пока был один – смертельная ревность Ракла в результате связи Переца с Розалией. Если Ракло бросит свою ревность и ему станет наплевать на Розалию – тут же и мне придет конец.

Состояние Рувима внушило мне четкую ясность: другого дома, кроме Перецового, у меня теперь нету в полном смысле слова.

И я решил. Надо перепрыгнуть через Переца и как-то подойти лично к Раклу. Втереться к нему.

В конце концов – что такое есть Перец? Чем занимается? Что у него в голове? Слишком хорошо, гад, живет, жирует на теле трудового народа. Нэпман – а не нэпман, совслужащий – а не совслужащий. На работу каждый день не тащится.

Я мечтал от всего сердца покатайся на автомобиле. Похорошему просил: покатай. Ответил – нету такой насущной

возможности. Говорит – тогда, в нашу первую безответную встречу в автомобиле оказался случайно. Может, брехал. Мне его брехня насчет автомобиля особенно уколола сердце. Жил бы он своим ручным трудом – не имелось бы никаких к нему претензий. Но он же ж не трудовой. Спекулянт – и спекулянт. На ниточке держится. Причем на гнилой ниточке.

Алексей Васильевич – другое дело. Он и есть трудовой народ, как я. С ним навек и с чистой совестью я окажусь в будущем.

Конечно, явиться с пустыми разговорами, даже и про измену, – сомнительно.

Передо мной стала задача в свете факта передачи оружия Розалией Перецу: вывести врагов на чистую воду не только с их сюсями-пусями, но и с кое-чем серьезней. Что серьезное – есть, я не сомневался. Даром револьверы с наганами один другому не таскают.

Перец спал.

И я заснул.

Назавтра ответственно подал заявление в комсомольскую ячейку.

Перец со мной перестал разговаривать даже по мелкому поводу. Я с ним – тоже.

Так прошла целая неделя.

Только раз я в лицо спросил:

– Где машинное масло? Мне кое-что смазать надо.

Перец зыркнул сначала в пол, потом на меня:

– В сарае бутылка.

Догадался про мой решительный намек. Но выдержка его не подвела. Так и меня ж не подвела.

Я часто навевывался к своей заветной вербе, просиживал подолгу, смотрел на деснянский ледоход, целился в тусклые глыбы, которые незаслуженно отдавали серебром на солнце. Целил твердо, но выстрела не производил – из соображений конспирации.

Кое-как обращаться с оружием меня научил Рувим во время нашего несчастного путешествия из Остра в Чернигов. На месте горячих боев он нашел маузер и таскал его с собой в целях защиты. На мои просьбы стрельнуть Рувим постоянно отвечал отрицательно – жалел патроны. Было их там всего три.

Рувим удостоверил меня сразу:

– Для тебя, для меня и третий для нас обоих на добавку.

Я поправил, что сначала можно троих беляков или струковцев положить, а потом убежать. И к тому же – почему он начал считать с меня, а не с себя?

Рувим махнул рукой:

– Считать надо всегда с малого, с того, кто сам себя убить

не способен. Я за тебя отвечаю, я тебя и убью в случае чего.

Я тогда хотел убежать от его кровавой и лютой несправедливости, но сил не оказалось. Потом как-то выветрилось.

Маузер некоторое время хранился под подушкой на топчане Рувима в больнице, дальнейшую судьбу его я не знал. Во всяком случае, мне не попадался, как я ни шуровал по разнообразным местечкам в больнице, где могли бы быть Рувимовы вещи любого медицинского назначения.

Тут, на вербе, много жалел, когда перебирал в памяти тот маузер. Было б теперь у меня два оружия.

И если б тогда с-под Волчьей горы выходил такой мостище, а не хлипкие доски над речкой Остёркой, моя судьба разложилась бы передо мной по-другому. А прямо говоря – иначе.

Первым все ж таки не выдержал Перец.

У меня на душе светился праздник – меня приняли в комсомол.

А Шкловский мне и говорит вечером:

– Я из Чернигова уезжаю в ближайшее время и крайне надолго. Дом этот – не мой, живу по договоренности. Так что ты или к Рувиму возвращайся, или я не знаю как. – И смотрит с значением. Причем явно с плохим.

Я отвечаю:

– Куда вы, туда и я. Мы ж теперь родные насовсем. Но

честно говоря, мне еще в Чернигове хорошо. Так что вы тут пока побудете, конечно. Что ж вы, хлопчика босоногого бросите? Нет, не бросите.

Шкловский налился красной злостью:

– Ничего себе – босоногий! Ты если на базаре свое шмотье продашь – год сможешь хлебом обжираться. Не говоря про то, что люди работают своими руками-ногами в таком возрасте. На подхвате где-нибудь или как. Ты у меня на шею сидишь и слазить не думаешь.

– Правильно утверждаете, товарищ Шкловский. Сижу. Учусь, получаю знания. Вот, в комсомол вступил. С шеи могу и слезть. Мне ваша шея медом не намазанная. Вы меня сами на нее посадили. Чтоб я про вас молчал что не нужно. И я молчал. Так мне и дальше молчать? Как скажете, товарищ Шкловский?

Шкловский перешел на другой лад:

– Давай начистоту. Дом правда – не мой. Уехать мне надо – тоже правда. Ты мне услугу оказал – тоже так. Что ты еще хочешь, чтоб нам разойтись по-доброму?

Я удивился внутри себя. Мне ставит условия человек, про которого у меня есть такой козырь, что ого-го! Мне ставит условия человек, который, возможно, контра! У меня его тайный револьвер, у меня его подельница – Розка накрашенная! Капланские планы ихние у меня как на ладони или даже в кулаке!

– Вы что, товарищ Шкловский! Вы учитываете, что я есть

честный свидетель вашей враждебной деятельности? Я свою жизнь под риск поставлю, только чтоб вывести вас на чистую воду! С револьвером, например...

Перец побелел.

– С каким таким револьвером?

– А с таким револьвером, что вам Розка ваша приперла и в мусорную кучу заховала. Вы мою спину и остальное увидели и чкурну́ли в темноту. Но ничего... Товарищ Ракло свой рушничок узнает, который Розка с дома вынесла. Мотала-мотала в рушничок оружие, дура, чтоб вы свои ручки не заохлодили, когда вытаскивать его будете...

Я говорил дальше и дальше, сильней и сильней, и видел, что Шкловский смотрит на меня как на сумасшедшего без ума и соображения. Он отступил назад, к двери. Я как раз красиво стоял, с протянутой вперед рукой, вроде тянул ее к его совести.

– Лазарь, ты что? Успокойся, Лазарь! Какое оружие? При чем тут Ракло?

Вдруг мне открылось через выражение глаз Переца, что он говорит правду. Удивление и испуг играли на его лице с полной откровенностью. Мне мое сердце подсказало. И моему сердцу стало плохо.

– Лазарь, ты присядь... Я щас водички принесу...

Перец двинулся в переднюю, где в ведре стояла вода. Но я бросился ему наперерез – надумал убежать.

Мы схватились.

Мои силы оказались не равные. Перец завалил меня ничком, скрутил руки за спиной. Туго перевязал своим ремешком.

Я затих. Отдыхал.

Мысли проносились в одно мгновение ока. Но мысли путанные, неясные. Не различимые по отдельности.

Так я лежал.

А Перец ходил надо мной туда-сюда и произносил речь:

– Дорогой Лазарь, комедия твоя затянулась! Ты, конечно, артист, но театр твой погорел. И погорел он потому, что ты щас придумал такую дурнину, что на голову не налазит. Какой револьвер? Откуда револьвер? Скажу – да, я тебя видел, когда ты крутился возле мусорной кучи на Пятницкой. Что ты там искал, мне несколько неизвестно. Куда ты свои руки поганые суешь и откуда их вытягиваешь – ты ж и сам не знаешь. Тем более если что-то ты в куче нашел – так это ж твоя добыча и лежит на твоей свинячей совести.

Я подал пробившийся голос:

– Ага... Не знаете... Ваша Розка туда сгорток с револьвером заховала – а вы за передачей явились. Но испугались меня. Я вас не боюсь! Хоть убейте! А правда всегда вылезет! И не такая еще правда вылазила! А эта, точно вам говорю, наверх вылезет!

И тут Шкловский засмеялся. Радостно, от души.

– Слушай! Ты пинкертонов начитался! Ты за Розой сле-

дил?

– Ну, следил...

– Она мне в ту кучу коробочку засунула. В коробочке то, что я ей на сохранение давал. Мне уезжать – так она возвратила. Я хотел забрать, а там – ты своей персоной крутишься. Я переждал, пока ты ушел, потом взял свое. Тайну Розка сама сделала. Алексея своего боится, аж страх. В конспирацию играет. Всё? Теперь понял? Обгавнялся ты, Лазарь! Вставай, Лазарь! – С этим пожеланием Перец развязал мне руки. – Вставай, Лазарь, и иди проветришь на воздух. Никакой контры ты тут не найдешь. А найдешь на свою голову я не знаю что. Болячку, вот что.

Я встал. Хотелось сказать убийственные правильные слова.

И я их сказал:

– А если я Алексею Васильевичу расскажу про вас с Розкой, что вы тут любовь крутили? Будет вам хорошо? Будет?

– Хорошо не будет. А все ж таки не контрреволюция.

Перец сидел в расстегнутой рубашке, воротник на одной пуговичке болтается, штаны без ремня ниже живота заложились складкой, пузо выпустилось наружу.

Ненависть захлестнула меня праведной волной негодования:

– Вы думаете, что ваш сын где-то живой. А он мертвый! Его шаблокой убили! – И я резко показал, как именно убивали. Так, так и вот еще и так. – Мне точно известно! Рувим

сказал как очевидец.

Шкловский вскочил, в последнюю минуту успел поддержать штаны и захватил их двумя кулаками. Белыми такими кулаками, только костяшки пальцев дрожали, вроде пьяные.

– Мертвый? Сын? Мой? – Перец ухватился за сердце и упал, подкошенный правдой.

В одну проклятую секундочку в моем мозгу родилась мысль: “Перец, гад, смертельно скончался”. Я выгнал такую мысль как ужасную и недопустимую в моем положении. И подумал на ее место: “Господи, сделай, чтоб Перец стал живой. Хоть на месяц еще. Забери Рувима, а Переца не надо. От Рувима Тебе польза – он и добрый, и доктор”.

Перец открыл глаза.

Я заглянул в его лицо и сказал тихонько, чтоб напомнить про обстоятельства:

– Перчик, ты ожил... Ты упал, даже головой стукнулся. А теперь ожил. Ты упал, потому что я тебе про Марика намекнул. Но ничего не сделаешь... Его ж никто с того света не вернет. А нам с тобой надо жить.

Шкловский смотрел на мой рот и вроде старался повторять за мной слова, начинал, когда я еще из своего горла их не выпихивал. А получалось по губам, что он то же лепечет, что и я.

Я дотащил Переца до кровати, уложил, хотел ноги подтянуть для ровности, но Перец брыкнулся и ноги свесил. В са-

погах был. В сапогах на чистое покрывало не желал. А я ж ему не раб.

Говорю:

– Доктора привести? Я у соседей узнаю, кто близко.

– Рув-в-има п-п-приведи. Щас-с-с привед-д-ди. С-с-с-под з-з-земли до-с-с-стань... – Слова приказные, а язык еле шевелится.

Я кивнул и выбежал на улицу.

За Рувимом не собирался. Спросил встречную тетку, откуда тут докторов зовут. Она показала дом неподалеку. Я – туда.

Достучался. Старуха сказала, что она и есть докторша по имени Дора. Не поинтересовалась даже, к кому надо идти. Быстро засобиравшись, вроде знала задолго наперед.

Дорогу не спрашивала: семенила так, что я за ней бежал. Знакомая, и хорошо знакомая, иначе б не спешила как на пожар. И даже за деньги так не спешила б.

Скользота страшная. Я бабку догнал – с самого раннего рождения боялся ходить по льду. Чуть где видно скользкое – каменею. И коньки у Шкловского попросил, чтоб с страхом бороться и победить. Но на лезвиях – дело другое. А в ботинках – никак.

Ну, доперлись.

Старуха с порога раскрыла свой чемоданчик, велела дать

полотенце. Из чемоданчика достала чекушку, руки протерла, распорядилась, чтоб воду грел.

Подтащила стул к кровати.

Шкловский в забытьи широко дышал и спал. Не чувствовал, как докторша его общупывала, слушала ухом и через растопыренные пальцы – как через рогатку. Тыкает, стучит и слушает. Стучит и слушает.

Я отметил, что Рувим ласковой подходит. Он рогаткой не тычет, а легонько вроде приглаживает воздух на груди, между ребрами, воздух пригладит и на приглаженное место пальцы расставит. Ему ж так и слушать спокойней. И ясней.

Шкловский от тычков проснулся.

Докторша и говорит:

– Ничего страшного. Сердцебиение ровное, пульс хорошего наполнения. Думаю, без уколов обойдемся. Хлопчик, завари чай некрепкий! Только сладкий.

Шкловский крикнул:

– Где Рувим? Шо ты мне ведьму притащил? – Докторша повернулась через плечо и посмотрела на меня таким манером, вроде я еще кого-то притащил, кроме нее, и ведьма к ней ни за что не касается.

– Какая вам разница, папа? Вы ж умирали. Вам лишь бы доктор. Это ж доктор? – Я показал пальцем на старуху: – Доктор. И на улице люди мне так сказали. А теперь, раз вы не умерли, я потихоньку до Рувима пойду. Найду – позову сюда. Теперь же ж спешить не надо.

Когда выходил, расслышал следующее и трошки задержался:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.